

Иван Тургенев

Дневник лишнего человека



Иван Тургенев

Дневник лишнего человека

«Public Domain»

1849

Тургенев И. С.

Дневник лишнего человека / И. С. Тургенев — «Public Domain»,
1849

«Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, всё пустяки – да; но в таком случае и сама вечность – пустяки...»

Содержание

| | |
|--|----|
| Сельцо Овечьи Воды, 20 марта 18... года. | 5 |
| 21 марта | 7 |
| 22 марта | 9 |
| 23 марта | 10 |
| 24 марта. Трескучий мороз | 12 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 14 |

Иван Сергеевич Тургенев

Дневник лишнего человека

Сельцо Овечьи Воды, 20 марта 18... года.

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, всё пустяки – да; но в таком случае и сама вечность – пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак – уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено, – выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить – не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных – мне не под силу; описания окружающего меня быта – даже меня занять не могут; а ничего не делать – скучно; читать – лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя была дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, – и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили, но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Мамонька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня укладкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил моего порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; все блестит, дымится, каплет; воробьи, как сумасшедшие, кричат около отпотевших темных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец воробей с растопыренными крыльями; он кричит – и каждый звук его голоса, каждое взерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть – вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги, – сидит и играет в свои козыри с кучером Потопом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги, – а Рикман за перегородкой поет:

Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
S'ist ja schön im fremden Lande —
Herz, mein Herz, – was willst du mehr?¹

После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда двенадцать лет. Отец мой умер ночью, от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети; но, помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпенье. Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?..» – «Ступайте, ступайте, Алексей Михайлыч кончается...» Я, как сумасшедший, из постели вон – в спальню. Гляжу: отец лежит с закинутой назад головой, весь красный, и мучительно хрипит. В дверях толпятся люди с перепуганными лицами; в передней кто-то сиплым голосом спрашивает: «Послали за доктором?» На дворе лошадь выводят из конюшни, ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу; маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша...» Он лежал неподвижно и как-то странно шурился. Я взглянул ему в лицо – невыносимый ужас захватил мне дыхание; я запищал от страха, как грубо схваченная птичка, – меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед сто-

¹ Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно. Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь? (нем.)

лом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника; слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке; я исходил слезами, я глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то; а матушка моя между тем медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечам и животу. Ни одной мысли у меня не было в голове; я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня.

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: все наше имение было продано с молотка за долги – так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрустил о продаже нашего гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками – Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новгородчины; там наконец я в первый раз увидел между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в светлое воскресение, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Неужели ж этому всему двадцать лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни: она, как звук, становится ему внятною спустя несколько времени.

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, – я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное туканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга...

Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта

Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно некстати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторится. Чувствительные излияния – словно солодковый корень: сперва пососешь – как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь.

Итак, мы переехали в Москву...

Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания – скажите на милость, кому не известно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более что пишу для собственного удовольствия; а коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер.

Что я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает, – согласен. Но ведь я умираю, ей-богу умираю, а перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?

Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка, Терентьевна, не дает мне покоя: «Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку...» Я знаю, зачем она ко мне пристает: ей самой хочется чаю. Что ж! пожалуй! Отчего не позволить бедной старухе извлечь напоследях всю возможную пользу из своего барина?.. Пока еще время не ушло.

23 марта

Опять зима. Снег валит хлопьями.

Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний – именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние... нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись... конечно; но бесполезность – не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний – да и только. Сверхштатный человек – вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с неожиданным и незванным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обременилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи... Дело прошлое! Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым, может быть, оттого, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные; притом, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями – и выражением этих чувств и мыслей – находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреодолимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду – мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался – я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть, как все», – и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее, – словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну, теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни с самим собою – кто знает? кто скажет?

Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припруг еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади... Он помолчал, тряхнул затылком, стегнул ее взятяжку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот – и не без усмешки промолвил: «Ведь вишь, в самом деле, приплелась! На кой черт?»

И я вот так же приплелся... Да, благо, станция недалеко.

Лишний... Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считаю нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимыми доказательствами в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения; лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова: лишний. Повторяю: я не намерен вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и замечательное обстоятельство, а именно: странное обращение со мной моих приятелей (у меня тоже были приятели) всякий раз, когда

я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось словно неловко; они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки, торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А! здравствуй, Чулкатурин!» (меня судьба одолжила таким прозвищем) или: «А, вот и Чулкатурин», тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения; я вообще неглуп; мне даже иногда в голову приходят мысли, довольно забавные, не совсем обыкновенные; но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят, и так просто, свободно... Экая прыть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык; но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, вполголоса: «А вот мы лучше немножко помолчим», и успокоюсь. На молчание-то мы все горазды; особенно наши женщины этим взяли: иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу.

Несколько лет тому назад, благодаря стечению весьма ничтожных, но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев шесть в уездном городе О... Город этот весь выстроен на косогоре, и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около восьмисот, бедности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи, на главной улице, под предлогом мостовой, изредка белеют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги; по самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют; тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста, для порядка, по приказу начальства, держится воз желтого сена и ходит одна казенная курица. Словом, в городе О... житье хоть куда. В первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте; я сам болен, а все больное терпеть не могу... Я и от счастья бы не прочь, я даже старался подойти к нему и справа и слева... И потому не удивительно, что и я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О... по служебным делам...

Терентьевна решительно поклялась уморить меня. Вот образчик нашего разговора:

Терентьевна. О-ох, батюшка! что вы это все пишете? вам нездорово писать-то.

Я. Да скучно, Терентьевна!

Она. А вы напейтесь чайку да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маненько.

Я. Да я не хочу спать.

Она. Ах, батюшка! что вы это? Господь с вами! Лягте-ка, лягте: оно лучше.

Я. Я и без того умру, Терентьевна!

Она. Сохрани господь и помилуй... Что ж, прикажете чайку?

Я. Я недели не проживу, Терентьевна!

Она. И-и, батюшка! что вы это?.. Так я пойду самоварчик поставлю.

О дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человек!

24 марта. Трескучий мороз

В самый день моего прибытия в город О... вышеупомянутые служебные дела заставили меня сходить к некоему Ожогину, Кирилле Матвеевичу, одному из главных чиновников уезда; но познакомился я с ним, или, как говорится, сблизился, спустя две недели. Дом его находился на главной улице и отличался от всех других величиной, крашеной крышей и двумя львами на воротах, из той породы львов, необыкновенно похожих на неудавшихся собак, родина которым Москва. По одним уже этим львам можно было заключить, что Ожогин человек с достатком. И действительно: у него было душ четыреста крестьян; он принимал у себя все лучшее общество города О... и слыл хлебосолом. К нему ездил и городничий на широких рыжих дрожках парой, необыкновенно крупный, словно из залежалого материала скроенный человек; ездили прочие чиновники: стряпчий, желтенькое и злобненькое существо; остряк землемер – немецкого происхождения, с татарским лицом; офицер путей сообщения – нежная душа, певец, но сплетник; бывший уездный предводитель – господин с крашеными волосами, взбитой манишкой, панталонами в обтяжку и тем благороднейшим выражением лица, которое так свойственно людям, побывавшим под судом; ездили также два помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком: «Да полноте, Сергей Сергеич; куда вам? Ведь вы слово: пробка – пишете с буки. Да, господа, – продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим, – Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка». И все присутствующие смеялись, хотя, вероятно, ни один из них не отличался особенным искусством в правописании; а несчастный Сергей Сергеич умолкал и с замирающей улыбкой преклонял голову. Но я забываю, что мое время рассчитано, и вдаюсь в слишком подробные описания. Итак, без дальних околичностей: Ожогин был женат, у него была дочь, Елизавета Кирилловна, и я в эту дочь влюбился.

Сам Ожогин был человек дюжинный, не дурной и не хороший; жена его сбивалась на застарелого цыпленка; но дочь их вышла не в своих родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткого нрава. Ее серые, светлые глаза глядели добродушно и прямо из-под ребячески приподнятых бровей; она почти постоянно улыбалась и смеялась тоже довольно часто. Свежий голос ее звучал очень приятно; двигалась она вольно, быстро – и весело краснела. Одевалась она не слишком изящно; к ней шли одни простые платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мне с кем-нибудь было с первого раза легко – что, впрочем, почти никогда не случалось, – это, признаюсь, сильно говорило в пользу нового знакомого. С женщинами же я вовсе не умел обращаться и в присутствии их либо хмурился и принимал свирепый вид, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. С Елизаветой Кирилловной, напротив, я с первого же раза почувствовал себя дома. Вот каким образом это случилось. Прихожу я однажды перед обедом к Ожогину, спрашиваю: «Дома?» Говорят: «Дома, одеваются; пожалуйте в залу». Я в залу; смотрю, у окна стоит, ко мне спиной, девица в белом платье и держит в руках клетку. Меня, по обыкновению, слегка покорило; однако я ничего, только кашлянул для приличия. Девица быстро обернулась, так быстро, что локоны ее ударили ей в лицо, увидела меня, поклонилась и с улыбкой показала мне ящичек, до половины наполненный зернами. «Вы позволите?» Я, разумеется, как водится в таких случаях, сперва наклонил голову и в то же время быстро согнул и выпрямил колени (словно кто ударил меня сзади в поджилки), что, как известно, служит признаком отличного воспитания и приятной развязности в обхождении, а потом улыбнулся, поднял руку и раза два осторожно и мягко провел ею по воздуху. Девица тотчас отвернулась от меня, вынула из клетки дощечку, начала сильно скрести по ней ножом и вдруг, не переменяя положения, произнесла следующие слова: «Это папенькин снегирь... Вы любите снегирей?» – «Я предпочитаю чижей», – отвечал я не без некоторого усилия. «А! Я тоже люблю чижей; но посмотрите на него, какой он хорошенький.

Посмотрите, он не боится. (Меня удивляло то, что я не боялся.) Подойдите. Его зовут Попка». Я подошел, нагнулся. «Не правда ли, какой он милый?» Она обернулась ко мне лицом; но мы так близко стояли друг к другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими светлыми глазками. Я посмотрел на нее: все ее молодое, розовое лицо так дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмеялся от удовольствия. Дверь растворилась: вошел господин Ожогин. Я тотчас подошел к нему, заговорил с ним очень непринужденно, сам не знаю как остался обедать, высидал весь вечер; а на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслеповатый человек, уже улыбался мне, как другу дома, стаскивая с меня шинель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.